

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА НБ

А. С. Пушкин

СКАЗКИ

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

А. С. ПУШКИН

СКАЗКИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Р1
П91

Текст печатается по изданию:
А. С. Пушкин, Собрание сочинений
в десяти томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1960

Вступительная статья
В. НЕПОМНЯЩЕГО

Иллюстрации художника
А. КОКОРИНА

П $\frac{0741-178}{028(01)73}$ 31—73

О СКАЗКАХ ПУШКИНА

В 1832 году вышла в свет Третья часть «Стихотворений Александра Пушкина».

Слава Пушкина в это время уже достигла вершины. Но публика, которая в свое время с восхищением приняла «Руслана и Людмилу», «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», — эта публика с почтительной холодностью или открытой неприязнью встретила творения зрелого мастера. В гении, шагнувшем «слишком далеко», она увидела чужака. Это не было фактом чисто литературным, а составляло одно из обстоятельств трагической жизни Пушкина в его последние годы. Это была драма человека, которого не слышат, не слушают и не пытаются понять.

Критика в основной своей части оказалась вполне на уровне публики. Третью часть «Стихотворений Александра Пушкина», в которую вошли «Бесы», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...»,

---

© Издательство «Художественная литература», 1973.

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Моцарт и Сальери» и другие шедевры русской поэзии, она приняла довольно кисло и поговаривала об упадке гения.

Одно произведение, вошедшее в Третью часть, было объявлено даже «подделкой». Подделкой под «наружные формы старинной русской народности».

Это была «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» — та самая сказка, строки и отрывки из которой с детства на слуху почти у каждого сегодняшнего читателя.

Примерно такая же участь постигла и другие сказки Пушкина, появившиеся в печати позже. Непризнание «Сказок» затянулось на десятилетия. Это не было случайностью. Причиной и здесь была «излишняя» прозорливость Пушкина. В данном случае — принципиально новое его отношение к народу и к народному творчеству.

Традиционное представление о народе было представление о нем как о пассивном объекте — либо притеснения и угнетения, либо благотворения и освобождения. Народное творчество тоже было «объектом» — объектом собирания и умиления. Это была своя, домашняя экзотика.

Пушкин был первым, кто обратился к народному творчеству для современных целей, ибо он первый увидел в народе не пассивную массу, не «объект», а активного участника исторического процесса.

Если в 1825 году, в финале «Бориса Годунова», Пушкин написал: «Народ в ужасе молчит», — то несколько лет спустя, в повести о пугачевском бунте, он показал, как народ, в ужасе молчавший, заговорил языком мятежа. В «Капитанской дочке» роль фольклорных элементов огромна и принципиальна. И уже сам рассказчик охвачен здесь ужасом — «пиитическим

ужасом», — когда слушает народную песню «Не шуми, мати зеленая дубравушка», которую поют бунтовщики.

И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Пушкин был первым, кто сказал, что такое же чувство — чувство священного трепета — можно испытать, слыша народную песню. Он первым увидел, *что стоит* за этой песней, какая активность и мощь духа спрессованы в народной поэзии. Он первым увидел в фольклоре не экзотику, а живую душу народа, не благодушную «старину», а грозную современность.

То, что было *понято* Пушкиным — историком и мыслителем — в изучении исторического действия народа в эпоху пугачевщины, было еще раньше *почувствовано* им — художником — в народной поэзии, создававшейся веками. В художественном открытии Пушкина — открытии темы народа — «Сказки» сыграли особую роль. Их атмосфера — это атмосфера мощи, раскованности, свободного полета фантазии — «то разгулье удалое, то сердечная тоска». Пугачев как бы вышел из них. В «Капитанской дочке» он возникает почти сказочным образом — как будто сама стихия бурана породила его на свет, — возникает со своей поговорочной, иносказательной речью, с народной песней «Не шуми, мати зеленая дубравушка» и, конечно, со сказкой об орле и вороне. И сам он отчасти сказочный — нечто сродни кровожадной бабе-яге, которая, со всею своей кровожадностью, героя не съела, а «накормила, напоила, спать уложила» и потом отпустила на все четыре стороны...

Логика сказки — логика чудесного, необыкновен-

ного, гиперболичного — здесь не была случайной. Она диктовалась новизной и огромностью темы. Рассказ о мужицком царе не мог хоть в чем-то не походить на сказку.

Пушкинские сказки возникли как апофеоз народного духа и закономерно предшествовали изображению народного действия. Вместе с тем в их возникновении — и в последовательности их появления — отразились судьба и жизнь Пушкина. В «Сказках» нашли свое воплощение и дух народа, и душа поэта.

Сказка и фантастика сопровождали Пушкина во всем его творчестве. Сказкой была первая его поэма «Руслан и Людмила», и «побежденный учитель» Жуковский увенчал голову «победителя-ученика» лаврами. Другая «сказка» — «Гавриилиада» — могла стоить и чуть не стоила «ученику» его увенчанной головы. К 1825 году относятся наброски драмы о Фаусте в аду. С 1826 года идет работа над «Русалкой». В тридцатых годах появляются начало сказки об Илье Муромце и цикл «Песен западных славян», полный фантастических, потусторонних мотивов.

С течением времени фантастика выходила из пределов сказки, завладевая чуждыми ей, казалось бы, пределами произведений вовсе не фантастических, как бы готовя почву для Гоголя.

Жуток сказочный сон Татьяны, предвещающий реальную, несказочную трагедию. Сказка прячется между строк «Метели» и выглядывает из «Гробовщика». И ожившая Статуя Командора — не просто дань литературной традиции; иначе трагедия называлась бы, скажем, «Дон Гуан», а не «Каменный гость». Фантастичен вещий сон Гринева — не говоря уже о сказочности самого Пугачева. Фантастика вторгается в

поэму «Медный всадник», она пронизывает строго реалистическую ткань «Пиковой дамы» — повести об уродливости человеческих отношений в современном мире.

Чем более углубляется пушкинский реализм, тем больше места требует фантастика. Стремление постигнуть загадочные законы жизни, тайны бытия, запечатлеть это постижение в слове — заставляло использовать и те средства, к которым испокон веков прибегали безымянные и мудрые творцы фольклора. Реальность «жестокого века» накладывала на этот процесс особый и часто зловещий отпечаток.

И ничего удивительного нет в том, что произведения, объединенные под заголовком «Сказки», появились в тридцатые годы, когда тяжелые предчувствия уже начинали томить поэта.

Не случайно у колыбели «Сказок», как пролог к ним, стоят «Бесы» — страшные стихи, написанные 7 сентября 1830 года, всего за неделю до первой из них — «Сказки о попе...». «Бесы» — самая высокая и душераздирающая нота пушкинской фантастики, потому что стихотворение это очень близко к той реальности, которая окружала Пушкина в тридцатые годы. Последние строки этих стихов звучат как реквием.

Атмосфера, насыщенная фантастикой «Бесов», атмосфера тяжкого и неотвязного предчувствия, густа и душна. И, чтобы не задохнуться совсем, Пушкин распахивает двери фольклору, простонародной фантазии. Если уж сказка — то пусть будет настоящая сказка, с добрыми молодцами, красными девицами, с откровенно черными злодеями и с торжеством добра и справедливости в конце. Пусть будет не страшная, а веселая и добрая сказка, в которой можно сочинять и жить не так, как диктует фантастическая действительность, а так, как хочется, и так, как *должно бы быть.* «На свете

счастья нет, но есть покой и воля». Покоя и воли ищет Пушкин в устойчивости и простоте представлений, свойственных народной поэзии.

И вот — «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830), с ее грубоватым юмором, с ее строем раешника и красками лубка, — сказка, в которой прославляются ум и смекалка простого человека и наказывается даже самое умеренное корыстолюбие. Здесь нет жути и чертовщины, а есть туповатый старый бес, похожий на несмекалистого мужика, и жалкенький бесенок — последыши выродившегося могущественного рода дьяволов и мефистофелей. Это — «чур меня!», открещиванье от ужасной реальности «Бесов», заклятье смехом. Все страшное, все грустное — невыносимо; может быть, отчасти поэтому так и осталась незавершенной печальная сказка о медведихе, а может быть, еще и потому, что слишком мало было здесь лирического, личного начала, мало «создания» и много стилизации... Вместо нее появляется в следующем, 1831 году радостная, многоцветная, переливающаяся, как перо Жар-птицы, «Сказка о царе Салтане...» — вся пронизанная нетерпеливым, задорным, почти плясовым ритмом. Это — история, в которой мало — только самое необходимое — рассказывается про печальные вещи, например про тоску отца и тоску сына по отцу, и много — про то, как легко и быстро исполняются все желания хорошего человека. Даже козни злых баб (которых мы в финале, вместе с Салтаном, на радостях прощаем) в конечном счете лишь помогают Гвидону устроить земной рай на своем острове.

Но жизнь вторгается и в земной рай. И появляется «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833) — уныло-протяжная, как грустная народная песня (не зря Пушкин вначале хотел ввести ее в цикл «Песен западных славян»), и, как песня, возвращающаяся к одному и тому же мотиву. Тут старик со старухой, прожившие вместе

тридцать лет и три года, становятся друг другу чужды и враждебны; тут творятся жестокие дела, тут одним движет алчность, а другого унижают пощечинами и насмешками; и даже справедливость вершится здесь невесело, под грозный шум моря. И сама жизнь предстает загадочной и грозной стихией.

Напряженная и мрачная патетичность этой сказки звучит диссонансом в светлом и просторном мире, созданном первыми двумя. Акварельный лиризм «Сказки о мертвой царевне...», написанной месяц спустя после «Сказки о рыбаке и рыбке», — это нечто вроде передышки. Это, может быть, попытка уйти от чего-то навязчиво-зловещего. Здесь никто не наказывается: царица умирает сама, а о Чернавке автор в финале сказки даже не вспоминает. Но здесь злодеяние все же не проходит даром: царица умирает, а о предательнице-Чернавке мы думаем с презрением. И вся эта сказка, начинающаяся щемяще-грустной нотой («тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла»), — вся она, хоть и кончается благополучно, как бы таит в себе тяжелое предчувствие. Она предшествует «Золотому петушку».

С этой — последней — сказкой в мир устойчивости, простоты и определенности ворвались, хлынули открытым и неудержимым потоком таинственные, неуправляемые силы. Простодушная праздничность «Салтана» обернулась здесь веселостью наигранной, почти лихорадочной, и вместо сказочно-простых и бесхитростных человеческих характеров, вытесняя их, появились фантомы. И вечно спящий Дадон, и неизвестно откуда возникающий старичок-скопец, и страшная картина поля боя, где на кровавой траве лежат братья, вонзившие друг в друга мечи, и эта странная Шамаханская царица, о которой ничего не известно, кроме того, что она сияет «как заря», и которая все молчала-молчала да вдруг — в самый неподходящий

момент — захихикала, — все это, призрачное и страшное, как «мутное кружение метели» в «Капитанской дочке», как кружение бесов «в мутной месяца игре», появилось в мире русской сказки вдруг, неожиданно, непонятно; появилось, промелькнуло в бешеном калейдоскопе и — провалилось, «будто вовсе не бывало», исчезло стремительно, неожиданно и неизвестно куда.

Так вернулась страшная сказка.

Вероятно, не случайно то, что вернулась она в 1834 году. В том году, когда рухнули последние надежды поэта на независимость, на «покой и волю», когда начался стремительный и бесповоротный путь Пушкина к гибели. В том году, когда современник услышал из уст взбешенного поэта слова о том, что «царь одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок».

«Сказка о золотом петушке» — это признание несостоятельности благих иллюзий перед лицом жестокой действительности. От бесов не удалось отчураться. Надо было принимать бой. И в своей последней сказке Пушкин разделывается с царем, посулившим ему свободу, а потом предавшим,[1] со своими «хозяевами», с тем обществом, о котором он писал: «Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно...»

Цикл «Сказок», подойдя к своему финалу — к звучащему как взрыв «Золотому петушку» с его болью и сарказмом, носящими не только обличительно-сатирический, но и глубоко личный характер, — смыкается с темой исторического романа о буре, потрясшей огром-

---

[1]Эти автобиографические мотивы вскрыты Анной Ахматовой в ее известной статье «Последняя сказка Пушкина» (журнал «Звезда», 1933, № 1).

ное государство. Интересно отметить, что тот эпизод «Капитанской дочки» — эпизод бурана, — в котором появляется таинственный «вожатый», во многом повторяет мотивы «Бесов», будто возвращаясь к той исходной точке, к тому прологу, с которого начались «Сказки». Описывается как бы замкнутый круг. Стремясь уйти, «бежать» в сказку, автор снова и словно бы помимо своей воли выходит в реальную жизнь и реальную историю с их драмами, с их проблемами, от решения которых не уйти.

Это было закономерно. Мудрость фольклора в том, что он, при всем своем видимом простодушии, порожден жизнью и обращен к жизни. Особенно ясно это стало тогда, когда великий художник претворил темы, сюжеты и приемы народного творчества в явление современного литературного процесса. Эта связь с действительностью обусловила и величие, и внутренний драматизм пушкинского замысла. Не эмпирический материал русского фольклора руководил тут «имитатором», а пафос внутренней темы правил творцом. Озарение идеи подсказывало, откуда брать материал: из русской ли сказки, рассказанной няней Ариной Родионовной («Сказка о попе и о работнике его Балде»), из сборника ли братьев Гримм («Сказка о рыбаке и рыбке») или сразу из нескольких источников («Сказка о царе Салтане...», «Сказка о мертвой царевне...»[1]). И каждый раз создавалась не имитация, а новое произведение. Пушкин не копировал «наружные

---

[1]Как показано М. Азадовским, «Сказка о царе Салтане...» представляет собою сложное сочетание мотивов русского и западноевропейского фольклора, а «Сказка о мертвой царевне...» тесно связана не только с русским народным творчеством, но и с гриммовской «Белоснежкой», (см.: М. Азадовский. Источники сказок Пушкина. — В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936).

формы старинной русской народности», а использовал их так, как было нужно ему, создававшему подлинно народную литературу современности. Уважение к этим формам состояло не в том, чтобы имитировать их, а в том, чтобы заставить их работать в новой системе.

С той же серьезностью, с какой Пушкин ввел в свою философско-историческую систему понятие народного *действия*, он вводил народно-фольклорное начало в свою эстетическую систему. Фольклор перестал быть объектом умиления и стал *действовать*, участвуя в создании и утверждении нового метода литературы.

Это не было насилием, ибо сам-то новый метод родился в сближении литературы с народом, был плоть от плоти народа. Пушкин ориентировался на дух фольклора, на дух сказки — с ее бесхитростной мудростью, с простотой и массивностью ее компонентов, с устойчивостью традиционных нравственных понятий, выработанных вековой практикой народа, — ориентировался с позиций своего реализма.

Закон «натуральной» народной сказки — действие. Главное в ней — движение сюжета, порядок разворачивания событий. Действия и события, как правило, не изображаются — о них лишь сообщается. Эмоции героев, события их внутренней жизни не описываются, а обозначаются более или менее условными средствами («Закручинился Иван-царевич...»; «Повесил голову Иванушка...»). В «натуральной» сказке не место изобразительным деталям, подробностям, полутонам.

Эта структура подвергается у Пушкина реформе.

В народной сказке можно было бы просто сообщить о том, что Гвидон выстрелил и убил коршуна, то есть дать беглу́ю схему события, показать его, как и полагается, вроде бы издали, «общим планом».

Пушкин приближает событие к нам — возникает «крупный план», наблюдаемый как бы в подзорную трубу:

Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил.

Видно все до мельчайших подробностей: и то, что стрела не вонзилась, а лишь «задела», и задела «в шею»; видна и струйка крови, пролившаяся в море; само собою возникает перед нами даже и то, что не названо прямо,— глаза Гвидона, застывшего с поднятым луком и напряженно следящего за жертвой («Коршун в море кровь пролил» — «Лук царевич опустил»).

Изменения, казалось бы, прежде всего количественного характера (вместо одного действия — несколько), приводят к качественному сдвигу: вместо условно-сказочного действия — действие реальное, зримое.

Отсюда качественно новая возможность — возможность не только прослеживать подробности события, но и воссоздавать состояние персонажей:

Вот , море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь...

Столь трогательную и выразительную картину позволяет создать тот же прием детализации, несвойственной, как уже говорилось, фольклору и свойственной именно *литературе* с ее стремлением проникать во внутреннюю жизнь героев.

Зрелый Пушкин уже мог посмеиваться над Пушкиным юным, Пушкиным-романтиком, над мелодрама-

тической похожестью романтических героев друг на друга. Цитируя строки «Бахчисарайского фонтана»:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю — и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет...—

он замечал: «Молодые писатели вообще не умеют изображать *физические движения страстей.* Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (курсив мой. — *В. Н.*).

Здесь, так сказать, «от противного» сформулирован один из тех основных законов, на которых зиждется метод зрелого Пушкина — изображение *движений души* через «физические движения», через конкретное *физическое действие* (в отличие от условных, аффектированных и потому почти одинаковых жестов романтических героев). Огромная роль такого физического действия (и соответственно глагола) давно отмечена исследователями и в поэзии и в прозе Пушкина.

Этот закон является одним из основных и для «Сказок».

На него она *взглянула,*
Тяжелешенько *вздохнула,*
Восхищенья *не снесла*
И к обедне *умерла.*

Злая мачеха, *вскочив,*
Об пол зеркальце *разбив,*
В двери прямо *побежала*
И царевну *повстречала.*
Тут ее тоска *взяла,*
И царица *умерла.*

Два ряда глаголов — это не просто два ряда разных действий: это как бы режиссерские указания Пушкина актеру или чтецу, две четких схемы «физических дви-

жений», которые исполнители должны, говоря актерским языком, «оправдать», то есть найти вытекающие из обстоятельств внутренние состояния, диктующие эти движения, и притом — состояния двух *разных* людей.

В отличие от театральных жестов условно-романтических героев, конкретные «физические движения» указывают на конкретные характеры. В народной же сказке были только типы.

Так «Сказки» влились в общий поток творчества Пушкина-реалиста. Ибо естественность, органичность «физических движений страстей» — не что иное, как «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — то самое, чего требовал Пушкин от реалистической драмы, да и от реалистической литературы вообще.

В «предполагаемых обстоятельствах» сказки — обстоятельствах в основе своей фантастических, неправдоподобных, условных — Пушкин создал характеры, наделенные во многом «безусловной» истиной страстей, правдоподобием чувствований. Салтан и Гвидон, поп и Балда, мачеха и падчерица, Елисей, бесенок и даже месяц, с которым разговаривает королевич,— все это живые лица, каждое со своей натурой, со своим нравом, со своею индивидуальностью.

Сказка фольклорная породила сказку в известной мере психологическую, потому что изобразительность, которую ввел в нее Пушкин, была не описательной, как в романтической поэме, она была изобразительностью *динамической*, то есть основанной на «физическом движении», на конкретном действии.

Теперь вспомним, что закон натуральной народной сказки — действие, последовательность событий. И тогда окажется, что, преобразовывая систему сказки, придавая сказке не свойственные ей черты психологиз-

ма, Пушкин действовал *в соответствии с ее собственным законом,* использовал и развивал ее собственное свойство. Взяв принцип сказки как целого — *последовательность действий,* — он пронизал им все *части* этого целого, превратив каждый эпизод в маленький «сюжет в сюжете». И тогда возникла «истина страстей».

Так выявилась парадоксальная на первый взгляд связь между фольклором, чуждым психологизма, и литературой психологического реализма.

И тут оказалось, что внутренним, психологическим движением могут наполняться даже самые традиционные, самые условные, чисто фольклорные приемы, — например, устойчивые, повторяющиеся формулы (которые Пушкин создавал по образцу народных сказок). Такие повторы есть в «Сказке о попе...» («Испугался бесенок, да к деду...»), они есть в «Сказке о рыбаке и рыбке» («Пошел старик к синему морю»); в «Сказке о царе Салтане...» они занимают примерно половину всего текста, причем замена отдельных слов и словосочетаний («На раздутых парусах» — «На поднятых парусах») только подчеркивает неизменность, неподвижную повторяемость целого.

На протяжении сказки мы, например, трижды видим, как

...весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.

И каждый раз (полная неподвижность!) об этом говорится одними и теми же словами.

А читается-то по-разному!

Ибо Пушкин не просто трижды описывает Салтана, а трижды перевоплощается в Гвидона («*Видит:* весь

сияя в злате...»), трижды глядит на отца глазами сына; и этот сыновний взгляд сквозь официальный царственный блеск различает отцовскую, человеческую грусть. Чем чаще Гвидон, в разных обличьях, посещает отца, тем яснее он видит, как растет эта грусть. Чем больше проходит времени, тем более многообразные чувства испытывает сын: радостное любопытство (первое свидание с отцом), щемящая жалость, любовь, нетерпение, досада (вспомним, как добивается Гвидон, чтобы Салтан приехал навестить его)...

Вот почему каждый раз один и тот же кусок текста (и, казалось бы, одно и то же событие) наполняется новым смыслом.

Условная фольклорная формула расшифровывает свое реальное, «безусловное» содержание, обнаруживает в статичности — универсальность, в обобщенности, одноцветности — способность разворачивать спектр.

Естественность и свобода внутреннего движения в сказке были достигнуты Пушкиным именно потому, что он подчинялся законам жанра, и новаторство его вырастало из традиций народной сказки.

И где-то в той точке, где традиционное переходит в новое, появляется еще одно действующее лицо — автор. В этом персонаже и сливаются в единство противоположности народной сказки и литературного произведения. Автор ведет себя как актер, перевоплощающийся в героя, но остающийся в то же время самим собой. Реальность психологического движения так ощутима и, можно сказать, объемна потому, что во взгляде героя — скажем, того же Гвидона — то и дело мерцает взгляд самого автора.

Словно в подзорную трубу мы смотрели на коршуна, сраженного Гвидоном, и «крупным планом» видели все подробности. Теперь уже сам Гвидон смотрит в трубу:

Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит.

Тонкий комизм этого эпизода — в его «стереоскопичности», невозможной в реальной жизни. Пушкин здесь «озорничает», он рисует зримую картину, но рисует ее так, как это немыслимо было ни для одного художника его времени, но стало возможным для Пикассо. Он смотрит одновременно анфас и в профиль. Анфас он глядит в подзорную трубу и видит отца глазами взволнованного сына. В профиль он смотрит без всякой подзорной трубы, своими собственными смеющимися глазами, и видит обоих — Салтана и Гвидона с трубами, в комически-одинаковых позах, наводящих на мысль о мультипликации.

«Крупный план» литературы и «общий план» народной сказки соединяются в одно противоречивое и гармоническое целое , в котором тонко и точно выражается многогранное и реальное содержание. Ведь Гвидон и Салтан, увиденные нами в одной и той же позе, не только комичны, но и глубоко трогательны. В одинаковости поз — и похожесть сына на отца, и их одинаковое нетерпение; в благодушном юморе — счастливое ожидание; в противоречивой «стереоскопичности» — стремление к гармонии; и во всей картине — радость автора за героев, которые наконец-то встретятся,— и сказка о крепкой русской семье, которую не могут разрушить никакие козни, окончится ко всеобщему удовольствию...

Это личное авторское чувство, создающее атмосферу лиризма, по-новому освещает ту реформу, которой Пушкин подверг структуру сказки.

Вспомним, как царевна

Пошатнулась не дыша,
Белы руки *опустила,*
Плод румяный *уронила,*
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку *пала*
И тиха, недвижна стала.

Не семь строк, не шесть глаголов — шесть «кадров», создающих точнейшую, достовернейшую картину, как если бы мы при всем этом присутствовали и видели это собственными глазами.

Да, но Пушкин-то действительно видит это *собственными* глазами! Вернемся к отрывку, но возьмем строчкой выше:

Вдруг она, *моя душа,*
Пошатнулась не дыша...

Какое щемящее начало!

Оказывается, здесь не просто прием «раскадровки» события, не просто шесть последовательных «физических движений» героини, здесь присутствует сильное *душевное движение автора!* У него, ошеломленного, при каждом невольном жесте царевны словно бы перехватывает дух от боли, от любви, от скорби. Вот откуда эта пристальность взгляда, не упускающего ни одной детали.

Атмосфера непосредственного лиризма бывает настолько сильна, что иногда в сказку вторгается чуть ли не элегия:

Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный...

Рядом с чистейше фольклорными интонациями:

Усадили в уголок,
Подносили пирожок;
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она...—

возникает чистейшее лирическое стихотворение:

Старший молвил: *«Спи во гробе;*
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса...»

Это, конечно, никакой не «старший» из семи богатырей говорит, это сам автор, не желающий превозмочь свое собственное лирическое чувство, оттесняет в сторону «румяного усача», который не может сказать такое надгробное слово, какое нужно *поэту*, какое в его настроении...

Так в «Сказках» народная тема, которая находила наиболее прямое свое воплощение в повествовательных, эпических формах, непосредственно сомкнулась и с лирической стихией Пушкина. Этот процесс находит своеобразное и парадоксальное выражение в «Сказке о рыбаке и рыбке». Именно через эту, очень близкую к фольклору и самую «эпическую» из «Сказок», идет особенно мощный поток лиризма, личного авторского чувства, чувства гнева, боли, скорби.

В пушкинских «Сказках» широта, размах, простодушная мудрость, яркая определенность красок, ребяческая непосредственность высказывания — все качества, изначально присущие народному творчеству как творчеству коллективному, предстали в форме личных

качеств *этого* рассказчика. Народный дух как бы воплотился в Пушкине, в его лирическом «я»[1].

И если «Сказки» можно назвать апофеозом народного духа, то с не меньшим правом их можно определить как историю пушкинских настроений в тридцатые годы, его метаний между иллюзиями и реальностью, между скорбью и надеждой, между: «Сбились мы. Что делать нам?» («Бесы») — и: «Дорога-то здесь. Я стою на твердой полосе» («Капитанская дочка»).

Пушкинские сказки, взятые вместе, представляют собою цельный творческий процесс, протекающий с интенсивностью напряженной драмы. Это — процесс столкновения, взаимодействия, взаимообогащения и борьбы двух начал: устойчивости, первозданной простоты идеалов, наивной определенности понятий и приемов, свойственных фольклорной сказке,— и подвижности, диалектичности пушкинского художественного мышления, отражающего сложность реальной жизни. Вторжение лирического начала, психологизма, современности мышления в древний устный жанр не могло пройти для него бесследно. В процессе преобразования Пушкиным народной сказки как бы еще раз повторилась история самого этого жанра, прекратившего, как известно, свое активное существование довольно давно и уступившего место другим формам творчества. Не случайно в «Сказке о золотом петушке» Пушкин обращается уже не к русской фольклорной основе, а к литературному источнику — к «восточной легенде» Вашингтона Ирвинга. «Сказка о золотом петушке» — это уже не вполне сказка. Это фантасмагория. В ней отсутствуют живые, обыкновенные люди — такие, как Балда, поп, Салтан, как рыбак и царев-

---

[1]Подробнее о поэтике и проблематике пушкинских сказок см.: В. Непомнящий. Заметки о сказках Пушкина.—«Вопросы литературы», 1972, № 3.

на, как старуха и «сватья баба Бабариха». Здесь — только могучие, неведомые силы да еще похожий на потешную куклу Дадон, мнящий себя повелителем этих сил, а на деле оказывающийся их жалкой игрушкой. Эта сказка, чуждая наивности, непосредственного лиризма, своими резкими красками и жесткими штрихами, своей откровенной сатиричностью, всей своей поэтикой принципиально отличается от остальных. В ней все призрачно, все резко гротескно и все многозначно. В других сказках не было никаких недомолвок. А здесь — что такое золотой петушок? Звездочет? Шамаханская царица? «Что там в поле? — Кто их знает — пень иль волк?»

Что такое Дадон? Сатира на царей? А может быть, еще к тому же и ирония поэта над самим собою, всю жизнь «ссорившимся с царями», а в зрелом возрасте захотевшим «покой себе устроить»? Может быть и так; но и это, конечно, не все... Во всяком случае, смысл этой сказки, при всех сатирических ее чертах, неизмеримо шире и глубже конкретных «обличений». Это — философское размышление, притча о жизни и человеке, близкая по своему пафосу к «маленьким трагедиям», рассказывающим о людях, которые стремятся властвовать над законами жизни, не умея властвовать собой, и о том, как жизнь мстит им за эту легкомысленную гордыню.

Возмездие Дадону, творимое золотым петушком — «верным сторожем», и совершившееся неожиданно, не похоже на наказание порока в предыдущих сказках Пушкина: там природа и источник возмездия (если оно вообще совершается) в общем объяснимы и понятны, как и в народной сказке. Здесь же происходит странное, таинственное и величественно-жуткое:

Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы

Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон,—
Охнул раз, — и умер он.

Свершился *высший суд.*

Спустя два года, в «Памятнике», на такой же таинственный высший суд поэт передаст свой спор — спор поэта с земными властителями.

Но не надо думать, будто его цель здесь — свести какие-то «счеты». Он мыслил в иных масштабах. Он искал не «выигрыша», а истины. Ее он искал всегда и в торжество ее верил, даже в последние трагические годы своей жизни, так же свято и незыблемо, как верит в торжество истины простодушная народная сказка.

В. НЕПОМНЯЩИЙ

СКАЗКИ



СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».

Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До́ светла все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет, да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему
не в мочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь,
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,



Да есть на них недоимки за три го́да.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— Да вот веревкой хочу море морщить,
Да вас, проклятое племя, корчить.—
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
— Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха.—
«Ба́лдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору—
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,

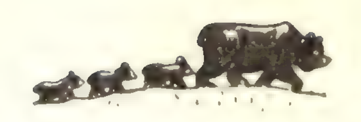


Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел.
На братца поглядывает боком.
«Погоди,— говорит,— схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что все море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,

Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — «Да жду вон этой тучки:
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесенок, да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...»
— Нет,— говорит Балда,—
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу,
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой.—
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом,

Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Делать нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

1830



СКАЗКА
О МЕДВЕДИХЕ

Как весенней теплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего
Выходила медведиха
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать.
Села медведиха под белой березою;
Стали медвежата промеж собой играть,
По муравушке валятися,
Боротися, кувыркатися.
Отколь ни возьмись мужик идет,
Он во руках несет рогатину,
А нож-то у него за поясом,
А мешок-то у него зá плечьми.
Как завидела медведиха
Мужика со рогатиной,
Заревела медведиха,
Стала кликать малых детушек,
Своих глупых медвежатушек.
— Ах вы детушки, медвежатушки,
Перестаньте играть, валятися,
Боротися, кувыркатися.
Уж как знать на нас мужик идет.

Становитесь, хоронитесь за меня.
Уж как я вас мужику не выдам
И сама мужику ... выем.

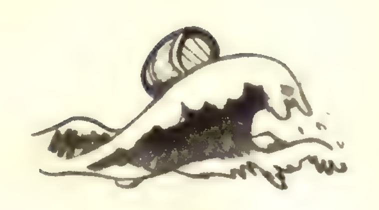
Медвежатушки испугалися,
За медведиху бросалися,
А медведиха осержалася,
На дыбы подымалася.
А мужик-то он догадлив был,
Он пускался на медведиху,
Он сажал в нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю,
А мужик-то ей брюхо порол,
Брюхо порол, да шкуру сымал,
Малых медвежатушек в мешок поклал,
А поклавши-то домой пошел.

«Вот тебе, жена, подарочек,
Что медвежия шуба в пятьдесят рублев,
А что вот тебе другой подарочек,
Трои медвежата по пять рублев».

Не звоны пошли по городу,
Пошли вести по всему по лесу,
Дошли вести до медведя черно-бурого,
Что убил мужик его медведиху,
Распорол ей брюхо белое,
Брюхо распорол, да шкуру сымал,
Медвежатушек в мешок поклал.
В ту пору медведь запечалился,
Голову повесил, голосом завыл
Про свою ли сударушку,

Черно-бурую медведиху.
— Ах ты свет моя медведиха,
На кого меня покинула,
Вдовца печального,
Вдовца горемычного?
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати.—
В ту пору звери собиралися
Ко тому ли медведю, к боярину.
Приходили звери большие,
Прибегали тут зверишки меньшие.
Прибегал туто волк дворянин,
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут бобр, торговый гость,
У него-то, бобра, жирный хвост.
Приходила ласочка дворяночка,
Приходила белочка княгинечка,
Приходила лисица подьячиха,
Подьячиха, казначеиха,
Приходил скоморох горностаюшка,
Приходил байбак тут игумен,
Живет он, байбак, позадь гумен.
Прибегал тут зайка смерд,
Зайка беленький, зайка серенький.
Приходил целовальник еж,
Все-то еж он ежится,
Все-то он щетинится.

1830



СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно, нá море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня;
Что стрела пропала в море;
Это горе — все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,

А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он,— вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой,
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Черно-бурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце,
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право, —
Подмигнув другим лукаво,

Повариха говорит, —
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть

Ель в лесу, под елью белка:
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех.
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо,— молвил он.—
Ай да лебедь — дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,

Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана —
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости.
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;

За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.

Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» — и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди...» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.



Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
— Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море

Стал глядеть он: море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли».
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.

Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге

Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит,
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится —
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу».

— А кого же на примете
Ты имеешь? — «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».

Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит

Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.

Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:



«Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя: —
Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.
Царь глядит — и узнает...
В нем взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» — и дух в нем занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.

Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

1831

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море).
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уже не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».

Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, — испугался!
В ноги он старухе поклонился,



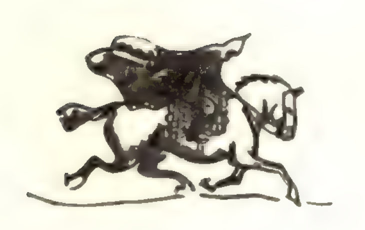
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!

Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

1833



СКАЗКА
О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.

На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,

И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
До сто сорок теремов.

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:

Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди все царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна все ж милее,
Все ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Черт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».

А сама пришла домой.
«Что? — сказала ей царица, —
Где красавица девица?»
— Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть.

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,

Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила,
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать,
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сарачина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит,



Им она не прекословит,
Не перечут ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя, так бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит, —
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».

Братья молча постояли
Да в затылке почесали.

«Спрос не грех. Прости ты нас, —
Старший молвил, поклонясь, —
Коли так, не заикнуся
Уж о том». — «Я не сержуся, —
Тихо молвила она, —
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,

Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко, —
Ей кричит она в окошко, —
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне». — Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо, —
Ей царевна говорит: —
На ж, лови!» — и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала.
«Благодарствую, — сказала. —
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»

И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пес как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать — поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед».
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала...
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать,
Треплет нежною рукою:
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» — и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Все на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь...
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,

Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру! —
Братья молвили,— печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой,
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой

Положили — и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,

Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».— «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил».

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».— «Братец мой,—
Отвечает месяц ясный,—
Не видал я девы красной.
На сторо́же я стою
Только в очередь мою.



Без меня царевна, видно,
Пробежала».— «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее».— «Постой, —
Отвечает ветер буйный,—
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов,
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту,
На прекрасную невесту

Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна все ж милее,

Всё румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

1833



СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ

Негде в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:

Ждут, бывало, с юга, глядь,—
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь,—лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.
Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу,—
Молвил он царю,— на спицу:
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой;
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолженье,—
Говорит он в восхищенье,—
Волю первую твою
Я исполню, как мою».



Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку,
Царствуй, лежа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден;
«Царь ты наш! отец народа!—
Возглашает воевода,—
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая,—
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку,—ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, нá конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.



Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было ль сраженья,—
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят;
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,—
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.

Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Царь завыл: «Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась — и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала,
Уложила отдыхать
На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.

Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ,—
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей;
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец,—
Молвил царь ему,— что скажешь?
Подь поближе. Что прикажешь?»
— Царь! — ответствует мудрец,—
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу.—
Крайне царь был изумлен.
«Что ты? — старцу молвил он,—
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего».
— Не хочу я ничего!

Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу,—
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!»
Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон.— Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот — въезжает в город он...
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз,— и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

1834

СОДЕРЖАНИЕ

Пушкин А. С.

П91 **Сказки.** Вст. статья В. Непомнящего. Илл. худ. А. Кокорина. М., «Худож. лит.», 1973

. 112 с. (Народная б-ка)

В книгу вошли все сказки А. С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане...» и др., а также неоконченная «Сказка о медведихе».

По словам М. Горького, «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу... Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу».

$\text{П}\frac{0741—178}{028(01)73}31—73$ Р1

Александр Сергеевич
Пушкин

СКАЗКИ

Редактор *Г. Бажанова*

Художественный редактор

А. Виноградов

Технический редактор

Л. Родионова

Корректоры

В. Фадеева и Г. Цветкова

Сдано в набор 2/III 1973 г. Подписано в печать 20/VII 1973 г. Бумага офсетная № 1. Формат 70x100 $^1/_{32}$. 3,5 печ. л. 4,54 усл. печ. л. 4,67 уч.-изд. л. Тираж 400 000 экз. Заказ 214. Цена 19 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

**Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Калинин, проспект Ленина 5
Фотонабор.**

19 коп.

ИХЛ